

Е.Е. Анисимова

Сибирский федеральный университет, Красноярск

**От травелога к житнетексту:
«Жуковский» и «Путешествие Глеба» Б.К. Зайцева**

Аннотация: В статье рассматривается становление житнетекста Б.К. Зайцева через осмысление им биографии В.А. Жуковского. Формой проникновения Зайцева в скрытые параметры житнетекста Жуковского стал травелог, который в процессе работы писателя над автобиографической тетралогией «Путешествие Глеба» оформляется в целостную философию жизненного пути.

The article investigates the formation of B.K. Zaitsev's life scenario through his comprehension of V.A. Zhukovsky's biography. Zaitsev's form of penetration into the hidden parameters of Zhukovsky's life scenario was a travelogue which in the process of the writer's work at the autobiographical tetralogy «Gleb's Travel» took the shape of an integral philosophy of the course of life.

Ключевые слова: Жуковский, Зайцев, биография, житнетекст, травелог.

Zhukovskii, Zaitsev, biography, life scenario, travelogue.

УДК: 812.0.

Контактная информация: Красноярск, пр. Свободный, 82а. СФУ, Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра журналистики. Тел. (391) 2230727. E-mail: eva1393@mail.ru.

По Н.В. Гоголю, одной из загадок литературной биографии В.А. Жуковского было умение художника в переводах одновременно и точно проследить за оригиналом, и выразить при этом собственную личность. Развивая мысль Гоголя, С.С. Аверинцев заметил: «Жуковский – образцовый пример того, как биография поэта явным для него самого и современников образом соотносится с его поэзией уже не через отдельные события, дающие тему отдельным стихотворениям ... но в качестве общей атмосферы, которой окрашено решительно все» [Аверинцев, 1996, с. 146]. Любопытным образом эта тенденция творчества Жуковского словно передалась его поэтическим последователям и биографам.

На протяжении XIX в. рецепция творчества первого русского романтика была в основном связана с усвоением его поэтического опыта: она проявлялась в явных и скрытых цитатах, реминисценциях, эпиграфах, пародиях других авторов и т. п. К концу XIX в. восприятие его личности и поэзии меняется, «память формы» постепенно стирается, и начинает формироваться биографический миф поэта. Особенностью рецепции в первой половине XX в. становится повышение статуса воспринимающего сознания, в известном смысле затмевающего в канале взаимодействия с культурой прошлого сам рецепируемый объект и/или существование его видоизменяющего. Феноменологический интерес к поэту, наметившийся в конце XIX в. [Айзикова, 2009, с. 428], сменился поисками собственной идентичности через житнетекст Жуковского, прочтением *себя* через *другого*.

Одним из ярких примеров этого процесса стало творчество Б.К. Зайцева. Специфика «жуковского текста» Зайцева была обусловлена «внутренней родственностью» (А.С. Шилиева) героев трех писательских биографий¹ – автору, причем Жуковского – в особенности [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 496]. Такая писательская стратегия спровоцировала взаимовлияние текстов о *себе* и текстов о *другом*: не только русские классики приобрели в них черты их биографа, но писательские биографии послужили поводом для осмысления автором собственной жизни. Формой такого проникновения Зайцева в скрытые параметры житнетекста Жуковского стал травелог, по своей природе предоставляющий «широчайший выбор средств само моделирования» и обеспечивающий «сопряжение литературного текста с повседневной жизнью» [Шёнле, 2004, с. 16]. Смысловая и географическая палитра путешествий оказывается очень богатой – от реальных поездок писателей по России и Западной Европе до философского осмысления человеческой жизни через категории путешествия и странствия. Все это находит отражение в мемуарной и художественной прозе Зайцева.

Одной из точек соприкосновения с поэтом XIX в. стала для Зайцева его общность с «итальянскими» впечатлениям Жуковского. По словам писателя-эмигранта, Италия становится его «второй Родиной», а в ее обретении он, изгнанник [Зайцев, 1972], нуждался особенно остро. В восприятии Зайцева Италия, как никакая другая европейская страна, близка России. В «Дневнике писателя» 25 мая 1926 г. он записывает: «На парижской земле варвар (русский) – вдруг ощущает: а нет ведь земли! Фиалка в тигле, перегонный куб, дающий лучшие духи, но только не природу. И поэтому русскому ближе итальянец – землянее, корневитее и сочнее» [Зайцев, 1999–2000, т. 9, с. 66]. В связи с этим особую значимость для Зайцева приобретает «итальянский текст» русской культуры, у истоков которого стоял Жуковский [Янушкевич, 2006]. В предисловии к сборнику очерков «Далекое» Зайцев пишет: «Большая часть книги – о России. Но в конце и об Италии. Без нее трудно обойтись автору, слишком она в него вошла, да и не в него одного. С давнего времени – с эпохи Гоголя, Жуковского, Тютчева, Тургенева, и до наших дней тянется вереница русских, прельщенных Италией, явившейся безмолвно и нешумно в русскую литературу и культуру – по некоему странному, казалось бы, созвучию, несмотря на видимую противоположность стран» [Зайцев, 1999–2000, т. 6, с. 160]. Линию этой преемственности Зайцев выстраивает следующим образом: Жуковский – Гоголь – Тютчев – Тургенев – Мережковский – Чехов – наконец, сам Зайцев [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 389].

Свою привязанность к Италии Зайцев воспринимает именно через призму словесности XIX в., когда эта страна стала местом паломничества русских писателей и художников. «Освежала Италия, куда, как в страну обетованную, неудержимо влекло и откуда всегда возвращались напоенные красотой и поэзией» («Молодость – Россия», 1951); «А пока что ходил и бродил он по Риму и попал в собор св. Петра, там забрался на самую высь купола – снаружи. Сто лет назад Гоголь с Жуковским туда же подымались, рисовали: отлично рисовали, и всем хотелось записать – удержать прелесть Рима» («Дни. 1939–1972»: «Русь в Умбрии», 1947) [Зайцев, 1999–2000, т. 9, с. 16, 243]. В заметках Зайцева об истоках русской итальяномании имена Жуковского и Гоголя неслучайно упоминаются в паре. Во время жизни за границей Жуковский становится для Гоголя «другом и главным собеседником» [Янушкевич, 2009, с. 418], что, по мнению Зайцева, символически выразилось в почти единовременной кончине писателей: «1852-й год. В феврале Гоголь ушел, в апреле Жуковский – друзья» [Зайцев, 1999–2000, т. 9, с. 194]. Представителю русской диаспоры Зайцеву был по-своему близок не вписавшийся в парадигму метрополии и вынужденный создавать поэму о России

¹ «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954). Подробнее о «трилогии» см.: [Громова, 2008].

в Италии Гоголь [Киселев, 2011], а его письма Жуковскому последних лет жизни стали для писателя-эмигранта образцом эпистолярного жанра: «Какие они письма друг другу писали!» («О Жуковском. 4 февраля 1942», 1948) [Зайцев, 1999–2000, т. 9, с. 253].

Характерным примером художественного осмысления идеи пути становится автобиографическая тетралогия Зайцева «Путешествие Глеба». На наш взгляд, именно она является ближайшим контекстом, необходимым для прочтения его романа «Жуковский». В «Путешествии Глеба» писатель продолжает моделировать историю русской литературы, данную в биографиях ее «тихих классиков» (Жуковского, Тургенева и Чехова), четвертым, на сей раз – автобиографическим жизнеописанием. Время создания этой автобиографической книги почти полностью совпадает со временем работы Зайцева над жизнеописанием Жуковского. К написанию первой книги тетралогии «Заря» писатель приступил в 1934 г., а окончание последней книги «Древо жизни» датировал маем 1952 г. Замысел романа о Жуковском возник в начале 1930-х гг., отдельное издание романа вышло в конце 1951 г., накануне столетнего юбилея со дня смерти поэта [Анисимова, 2011]. Характерное для Зайцева понимание биографии, сформулированное им самим как «освобождение от себя», «жизнь чужой жизнью» и «преклонение» [Зайцев, 1999–2000, т. 9, с. 271], определяет единство мотивной структуры «Жуковского» и «Путешествия Глеба». Мотивными константами жизнеописаний становятся идея земной жизни как путешествия, идеал внешней тишины и внутренней тихости, а также целый ряд биографических совпадений в житнотекстах Зайцева и Жуковского.

В «Жуковском» Зайцев красной нитью прочерчивает идею путешествия как метафору жизненного пути, заявленную писателем уже в топонимике названий глав: «Мишенское и Тула», «Дерпт – Петербург», «Прощание с Россией». В тщательно воссоздаваемой истории воспитания наследника престола, которой Зайцев придает большое значение и посвящает две главы («Наставник», «Прощание с Россией»), писатель реконструирует размышления Жуковского об обучении цесаревича. «Послушание принято, надо его исполнить. Жуковский намерен обучать Александра по сложному плану из трех частей. Первая – от 8 лет до 13 – “приготовление к путешествию” (все-таки *поэт* (курсив Зайцева. – Е.А.) сочинял программу!) – краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, иностранные языки. Вторая часть – от 13 до 18 лет – собственно науки, излагаемые более подробно – само “путешествие”, развивающее зерно первой части. <...> Наконец, третья часть “окончание путешествия” – чтение “немногих истинно классических книг”, с целью моральной – образование “совершенного человека”» [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 290]. В следующей писательской биографии – жизнеописании Чехова – «послушанием» также становится путешествие, на этот раз не метафорическое, – поездка героя книги на Сахалин [Там же, с. 386].

У Жуковского план обучения-путешествия, тщательно изученный Зайцевым-биографом, выглядел более детально, например: «Путеводный компас в руках. Карта известна. Дороги означены. Нет опасности заблудиться: ум приготовлен, любопытство пробуждено» [Жуковский, 1902, с. 136]. Финалом обучения, как известно, стала беспрецедентная поездка наследника по России от Тобольска до Крыма, во время которой, согласно отчету, было преодолено 14273,5 версты¹ за 148 дней [Путешествие по России, 1838, с. 14]. «Начало Азии, Сибирь! Ни один еще из царей русских не видал этих краев. Будущий Александр Второй увидел»

¹ У Зайцева 4500 версты [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 306].

[Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 302–303]¹. Следующим этапом, согласно плану Жуковского, должно было стать путешествие цесаревича по Западной Европе.

На формирование мировоззрения Жуковского, в котором идея пути занимала ключевое место, повлияли усвоенные поэтом традиции сентиментализма, известного своими «чувствительными» путешествиями, а также педагогические теории рубежа XVIII–XIX вв. Во время обучения Жуковского в Московском Университетском Благородном Пансионе популярностью пользовались лекции профессора Шварца, который «делил все познания на любопытные, приятные и полезные». Выше всего Шварц ставил последние, так как «познание полезное научает истинной любви, научает высшим понятиям: об этих-то познаниях более всего должен заботиться человек, так как он в земной жизни только путешественник, а в будущей гражданин» [Загарин, 1883, с. 22–23]. По мнению Л.И. Поливанова, эти воззрения стали точкой отсчета в формировании философии пути будущего поэта: «то, что у других могло быть модною фразою, глубоко запало в душу Жуковского, встретив в ней рано поразившую его совесть идею, что “человек в земной жизни только путешественник”» [Там же, с. 48].

В романе Зайцева «Жуковский» значительное место отводится рассказу об образовании и самообразовании героя, а также о его педагогической деятельности в качестве наставника будущего Александра II. В автобиографической тетралогии писателя обучение Глеба также оказывается в центре повествования. Знаком психологической, а в перспективе и историко-литературной, самоидентификации Зайцева через личность Жуковского стала следующая художественная деталь. В центральные книги «Путешествия Глеба» включен персонаж, имя и жизненный сюжет которого явно ориентированы на житетекст Жуковского. Речь идет о Серее Костомарове – втором после Глеба ученике в классе, названном Зайцевым по имени воспитанника Московского Университетского Благородного Пансиона, который делил то же почетное звание с Васей Жуковским. «Из “Акта 1798 г.” видно, что Жуковский был в числе “первых воспитанников-директоров концертов и других забав”, и что Сергей Костомаров и он “беспристрастным судом, основанным на большинстве голосов всех питомцев, признаны в большом (т.е. старшем) возрасте лучшими в учении и поведении”» [Загарин, 1883, с. 14]. Эту подробность, указанную в известных Зайцеву-биографу книгах К.К. Зейдлица и Л.И. Поливанова (П. Загарина) о Жуковском, Зайцев-художник достроил до полноценного сюжета, в котором фоном к яркому жизненному пути писателя Глеба² становится намеченная пунктиром «обыкновенная история» инженера Серее Костомарова.

Другие грани философии пути обнаруживаются в художественных текстах Жуковского. Бóльшая часть его сочинений, называемых Зайцевым в романе-биографии, основаны на хронотопе путешествия. К их числу относится, прежде всего, перевод «Одиссеи» Гомера, ставший единственным произведением поэта, которое Зайцев выносит в название главы («Семья, Гоголь, “Одиссея”»). Не менее значима в этом отношении стихотворная повесть Жуковского «Теон и Эсхин», философия которой подробно описывается биографом в связи с драматическим расставанием поэта с Машей Протасовой, а также в финале жизнеописания. Наконец, большое значение автор придает «лебединой песни» поэта – поэме «Странствующий жид», явившейся, по мнению Зайцева, «формой бытия самого Жуковского» [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 325]. Кроме того, элегия «Сельское кладбище» и баллада «Светлана», сделавшие имя Жуковскому и обозначенные Зайце-

¹ В «Путешествии Глеба» отмечается особо то уважение, которое питал автобиографический герой Зайцева к Александру II, «которого Глеб с раннего детства привык почтительно» [Зайцев, 1999–2000, т. 4, с. 196].

² Антропонимическим двойником Глеба становится сам Борис Зайцев, неоднократно указывающий на общность семантики имен Бориса и Глеба в русской культуре.

вым как существенные вехи творческого пути поэта, связаны с тем же ключевым мотивом пути.

Литературные «травелоги» Жуковского, как правило, корреспондируют с его размышлениями о земных странствиях в дневниках и письмах. По наблюдению А.С. Янушкевича, в 1840-е гг. «мотив возвращения на родину и странствия как блуждания и сомнения, философия терпения и приготовления к переходу в иной мир сопрягают “поведенческий” и “эстетический” тексты в эпистолярии. “Молю Бога, – пишет Жуковский 18 (30) марта 1846 г., – чтобы продлил еще на несколько лет здешнее мое странствие. Счастлив тот, кто может сказать себе в последний час, что он есть сын, возвращающийся к отцу из далекого *странствия*. А я, смотря на прошедшее, должен признаться себе, что был не путешественником, а *бродягою* (курсив Жуковского. – Е.А.)”» [Янушкевич, 2010, с. 102]. «Дорожные» раздумья достигают своего пика во время вынужденной жизни Жуковского за границей, когда сначала из-за болезней жены, а затем и из-за собственных недугов перед ним закрылась дверь на родину. По наблюдению исследователей, в это время «постоянно, в разных вариантах Жуковским муссируется мысль о созвучности гомеровского мира его возрастному и философскому состоянию души. Мысли о возвращении на родину, странствия по волнам революционной стихии, спасение семейной идиллии – все эти реалии жизненной судьбы поэта находили своей отзвук в гомеровском эпосе и рождали его автопсихологический подтекст» [Киселев, Янушкевич, 2010, с. 71].

О «дорожной» философии Жуковского скрупулезному биографу Зайцеву, конечно, было хорошо известно. Об этом свидетельствует внимание писателя к художественным и личным травелогам поэта, к метафорике его педагогического плана, и, наконец, философии жизни в целом. Так, Зайцев резюмирует: «Жуковский любил называть странствие наше ночью дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь – память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей» [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 251]. Для самого Зайцева-эмигранта, тема пути стала источником для многочисленных раздумий, нашедших свое отражение в писавшемся почти два десятилетия «Путешествии Глеба». «Великий исход из России сформировал особый тип личности, долгое время воспринимавшей изгнание как путешествие и сохранявшей взгляд и оценку Другого» [Тиме, 2010, с. 235]. Именно к этому типу личности принадлежал и Зайцев, в своих воспоминаниях неоднократно подчеркивающий, что, несмотря на десятилетия прожитые в Париже, он так и не стал для него *домом*.

Мысль о земной жизни как путешествии, определившая композицию автобиографической тетралогии Зайцева, впервые высказывается во второй ее части – «Тишине», уточняется в последующей – «Юности» и, наконец, наиболее явственно развёртывается в последнем романе – «Древо жизни», по заключительной главе которого названа вся тетралогия. «Если бы Глеб был старше, то под сумрачным своим шатром мог бы пофилософствовать и так, что *не есть ли жизнь ряд путешествий, укладываний и раскладываний, отъездов, приездов, меж которыми и стелется ткань ее*¹» («Тишина») [Зайцев, 1999–2000, т. 4, с. 160]. «Этот путь, взад-вперед, на Каширу-Мордвес, чрез Оку, предстояло ему совершить еще много раз, отмечая им *краткие станции быстротечной своей жизни*», «чем больше так ездил, тем яснее чувствовал, что *это и есть жизнь, вплоть до последнего путешествия, не по этой уже дороге*» («Юность») [Там же, с. 436].

В эмиграции одним из модусов «новой реакции на потерю своего пространства является возрождение мотива странствия, происходящего из православной агиографии» [Колер, 2010, с. 249]. Свои размышления о пути жизни Зайцев встраивает в смысловое поле христианской культуры с ее жанром паломничества, в котором, «применительно к отцам-пустынникам древности или великим мис-

¹ Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, курсив наш.

сионерским движениям раннего средневековья (по окончании переселения народов) понятия “монашество” и “странничество” (*Peregrinatio*) становятся почти синонимами» [Подскальски, 1996, с. 319]. Той же мыслью проникнуты написанные по личным впечатлениям книги Зайцева «Афон» (1928) и «Валаам» (1936). В них, как и в «Путешествии Глеба», происходит метафорическое возвращение на родину, снимающее главное противоречие между путешествием и эмиграцией. На разницу между этими понятиями справедливо указывает Г.-Б. Колер: «Общепринятое понимание путешествия предполагает возвращение и подразумевает, что пункт отправления является его последней и единственной целью назначения. Эта предпосылка напрямую высвечивает специфику явления, которая обнаруживается при сближении концептов путешествия и эмиграции (как бегства): возвращение невозможно, вторая часть путешествия остается нереализованной, путешествие остается, так сказать, во взвешенном состоянии, “en suspens”. С этой точки зрения эмиграция представляет собой “редукцию” путешествия: люди отправляются в дорогу, но не для того, чтобы увидеть что-то новое; уезжают, однако обратно не возвращаются» [Колер, 2010, с. 247–248].

Если в книгах «Афон» и «Валаам» возвращение домой осуществляется через посещение русских православных монастырей и монахов-пустынников, то в «Путешествии Глеба» символическим возвращением на родину становится поездка в Финляндию – на границу с Россией¹: «Ты подумай: мы будем от России в десяти верстах!» [Зайцев, 1999–2000, т. 4, с. 574], «После утренних дел Глеб любил в одиночестве выходить перед завтраком на прогулку. Обычно шел по шоссе к России. <...> На приморском песке кой-где русские, некоторые смотрят в бинокль: за полуденным маревом над бесцветной водой Родина. <...> (Слез же изгнаннических, капавших иногда на песок, не считал никто)» [Там же, с. 576–577]. Литературный контекст начала XIX в. включается в «Путешествие Глеба» через единственный в тетралогии эпиграф, которым открывается ее последний роман «Древо жизни». Зайцев использует строки стихотворения К.Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции»: «О, вей, попутный ветер, вей тихими устами / В ветрила кораблей!». Эпиграф задает соответствующий тон четвертой книге «Путешествия Глеба», где тема странствий становится доминирующей. «Батюшковский» текст образует композиционную раму этого заключительного романа тетралогии. Именно в нем тема путешествия, вынесенная в заглавие всей автобиографической книги, заостряется за счет включения контекста русской эмиграции. Эпиграф из элегии Батюшкова, открывающий «Древо жизни», перекликается с финальной главой романа, посвященной путешествию автобиографического персонажа Зайцева в Финляндию, и наталкивает на другую литературную параллель – «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» Батюшкова.

В начале 1920-х гг. многие представители старой элиты оказались перед простым выбором – эмигрировать или остаться в советской России. Этот выбор зачастую становился разным даже для членов одной семьи, что и демонстрирует Зайцев в заключительной части своей автобиографической тетралогии. Дополнительным литературным кодом к осмыслению создавшейся ситуации становится актуализирующийся на пересечении «жуковского» и «батюшковского» текстов в «Путешествии Глеба» известный поэтический диалог поэтов о *странствователе* и *домоседе* [Янушкевич, 1989]. В характерном для начала XIX в. «поэтическом состязании» Жуковский и Батюшков почти одновременно создают тексты-дублиеты «Теон и Эсхин» (1814) и «Странствователь и домосед» (1815), автопсихологические для обоих авторов. Если у Жуковского моральная правота остается за *домоседом* Теоном, а имя персонажа становится нарицательным и ассоциируется с самим поэтом [Жуковский, 1999–2010, т. 1, с. 728], то Батюшков оказывается на стороне *странствователя* Филалета. Насколько большое значение прида-

¹ Сейчас это место является территорией России.

вал Зайцев «философии Теона» видно из ее детального освещения в главе «Дерпт – Петербург»: «Весь этот апрель мучителен. В дневнике Жуковского – “белой книге” – томления его сохранились. <...> И тут же собственный “Теон” – “все в жизни к прекрасному средство”. Сколь, однако же, легче уверить себя в возвышенности жизни без счастья, чем взаправду принять жизнь такую. <...> С полной смелостью ставит он тут героическое решение, с полной прямоотой открывает и душу свою, человеческую, страждущую, никакими Теонами, как лекарством беспорным, неизлечимую» [Зайцев, 1999–2000, т. 5, с. 241–242].

Заглавие «Путешествие Глеба» Зайцев использует дважды: для всей тетралогии и для заключительной главы последнего романа, замыкая таким образом в кольцо *путешествия* всю книгу. В тетралогии специальные наименования имеют только главы ее четвертой части «Древо жизни», приобретая таким образом дополнительную смысловую нагрузку и корреспондируя со структурой писательских биографий, имеющих подобное членение. Названия первых восьми глав представляет собой географические координаты – своеобразные «станции жизни»: «Последняя Москва» – «Земляной вал» – «Берлин» – «Тишина Барди» – «Прошино» – «Летопись Земляного вала» – «Малая летопись Плющихи» – «Продолжение в Париже». Финальные девятая и десятая главы выбиваются из этой «топографической» логики, получая «антропологические» наименования: «Геннадий Андреич» и «Путешествие Глеба». Закономерным становится в композиции тетралогии финальный диалог двух персонажей: оставшегося в советской России *домоседа* Геннадия Андреича и эмигрировавшего *странствователя* Глеба. Геннадий Андреевич Колесников, «нумизмат и отец русской сфрагистики» [Зайцев, 1999–2000, т. 4, с. 572], сделался здесь примером деятеля, оставшегося в советской России, а Глеб – решившегося эмигрировать¹.

Во время работы над жизнеописанием Жуковского и собственной литературной автобиографией Зайцев впитывал смысловые параметры житетекста поэта-романтика и соотносил их с интенсивно осмысляющимся собственным жизнестроительным сюжетом. Мозаика из множества сходных биографических деталей – от совпадения дат рождения до обыгрывания эмоционального статуса «тихого классика» русской литературы – постепенно оформлялась в целостную философию жизненного пути. Наиболее отчетливо эта авторская стратегия, усиленная многочисленными литературными кодами, проступает в заключительных главах «Жуковского» и «Путешествия Глеба». В жизни героев этих (авто)биографий самосознание *домоседа* соединяется с судьбой вынужденного *странствователя*, а драматизм этой общей для русской эмиграции ситуации снимается автором в традициях русской православной культуры – через идеи послушания и паломничества.

Литература

Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С. 137–164.

Айзикова И.А. Художественная система В.А. Жуковского как текст // Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А. Жуковского 1820–1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009. С. 415–432.

Анисимова Е.Е. К истории создания беллетризованной биографии Б.К. Зайцева «Жуковский» // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 1 (26). С. 24–26.

Громова А.В. Жанр беллетризованной биографии в литературе русского зарубежья (произведения Б.К. Зайцева) // Вестник Ленинградского государственного

¹ Выражением духа *домоседов* Жуковского и Геннадия Андреича становятся «заповеди блаженства» Нагорной проповеди [Зайцев, 1999–2000, т. 4, с. 560, 571; т. 6, с. 224].

- го университета им. А.С. Пушкина. № 2 (12). Серия: Филология. СПб., 2008. С. 48–58.
- Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 9.
- Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999–2010.
- Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883.
- Зайцев Б.К. Изгнание // Русская литература в эмиграции: Сб. статей / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 3–5 (второй пагинации).
- Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 5 т. М., 1999–2000.
- Киселев В.С. Итальянский период жизни Гоголя: парадоксы безместности // Образы Италии в русской словесности: По итогам Второй междунар. науч. конф. Междунар. научно-исследовательского центра «Russia – Italia» – «Россия – Италия», Томск – Новосибирск, 1–7 июня 2009 / Ред. О.Б. Лебедева, Т.И. Печерская. Томск, 2011. С. 160–181.
- Киселев В.С., Янушкевич А.С. Эстетические принципы и поэтика перевода «Одиссеи» В.А. Жуковского // Вестн. Томск. гос. ун-та. Филология. 2010. № 2 (10). С. 68–80.
- Колер Г.-Б. Вездесущность и глубина: «Путешествие в неизвестный край» Юрия Терапиано в контексте травелогов русской эмиграции // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: Сб. ст. / Пер. с нем. Г.А. Тиме. М., 2010. С. 247–270.
- Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.) / Пер. А.В. Назаренко, под ред. К.К. Акентьева. СПб., 1996.
- Путешествие по России Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича // Современник. 1838. Т. 9. С. 1–26 (первой пагинации).
- Тиме Г. Изгнание как путешествие: русский взгляд Другого (1920-е годы) // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: Сборник статей / Пер. с нем. Г.А. Тиме. М., 2010. С. 235–246.
- Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб., 2004.
- Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков // Венок поэту. Жизнь и творчество К.Н. Батюшкова. Вологда, 1989. С. 61–67.
- Янушкевич А.С. Жуковский и Италия // Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 354–400.
- Янушкевич А.С. «Vedi Napoli e poi muori»: К. Батюшков – Е. Баратынский – Н. Гоголь // Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв.: Сб. ст. / Под ред. О.Б. Лебедевой, Н.Е. Меднис. Томск, 2009. С. 412–419.
- Янушкевич А.С. Письма В.А. Жуковского А.М. Тургеневу: опыт предварительного описания // Вестн. Томск. гос. ун-та. Филология. 2010. № 4 (12). С. 95–104.